

Галина Шпилевая

Свободный ли человек Лев Толстой? (Рецензия на книгу П.В. Басинского *Лев Толстой – свободный человек*. Молодая гвардия, Москва, 2016, - 415 [1] с.: ил.).

Беря в руки очередную работу о Льве Толстом, задаёшь себе вопрос: неужели можно о жизни этого человека написать что-то новое? Ведь над биографией великого писателя и мыслителя трудились Иван Бунин, Викентий Вересаев, Максим Горький, Николай Гусев, Ромен Роллан, Виктор Шкловский, Борис Эйхенбаум и многие другие выдающиеся литераторы и исследователи (некоторые из них были знакомы с Толстым лично). Павел Басинский убедительно доказал, что это возможно, ведь Толстой – личность невероятно сложная, глубокая, порой противоречивая. Ещё многие поколения исследователей будут открывать новые и новые черты гениального художника и выдающегося философа.

Что же наиболее ценно в труде Басинского? Прежде всего то, что перед нами биография, жанр которой можно определить как *научная*. В отличие от *беллетризованных* и *фактографических* жизнеописаний *научное* стремится синтезировать выверенные факты жизни, историко-социальные данности и литературоведческий анализ (если объектом биографии избран писатель). Этому принципа Басинский на протяжении всей книги придерживается неукоснительно.

Прежде всего отмечу, что столь необходимые в работах данного жанра автобиографические сведения были удачно сопряжены с фактами литературной деятельности Толстого-писателя. Например, упоминание о том, что воспоминания о неведомой, но горячо любимой матери, храбрых отце и деде, обаятельных юных сестрах Берс, других родственниках и знакомых Толстого нашли отражение в героях и сюжетных ситуациях *Войны и мира*, *Анны Карениной*, *Воскресения*, сделали материалы рассматриваемой биографии интересными и достоверными.

Сильным местом труда Басинского, на мой взгляд, является то, что приводятся интересные детали, которые, как и положено этому стилистическому приёму, расширяют образы времени и пространства, придают им динамики, *оживляют* описываемую эпоху.

Приводятся *страдания* Толстого оттого, что он “по скупости иногда не покупал Т. Ёргольской финики и шоколад (которыми та его же угощала)” (Басинский 2016: 47). Кстати, исследователи творчества Толстого будут очень благодарны автору данной биографии за правильное написание фамилии тетки писателя (не Ергольская!), так как этот момент является одним из показателей (негласных) профессионализма у *толстоведов*.

В качестве живой картины прошедшей эпохи выступает упоминание о сельскохозяйственных заботах Толстого-практика: “Толстой в это время вновь начинает серьёзно увлекаться сельским хозяйством. Он ищет, экспериментирует... Заводит особую породу японских свиней. Но они все вдруг сдохли. Оказалось, что свинарь, бывший кучер, их просто... не кормил, обидевшись на то, что его перевели из кучеров в свинари. Толстой насаждает леса, разводит яблоневые сады. Его привлекает пчеловодство. Он целыми днями пропадает на пасеке, куда жена приносит ему хлеб и молоко” (Басинский 2016: 171).

Автор биографии не боится отмечать недостатки столь известного и яркого человека: слыл не самым лучшим помещиком, был подвержен настоящим порокам (чрезмерное чувство оленя [в терминологии Толстого это – *похоть*], тщеславие, приверженность к карточной игре), в чем сам писатель неоднократно и безжалостно по отношению к себе признавался. Таким образом биограф не позволяет себе *застывать* “на иконописной точке зрения” (Эйхенбаум 1987: 35), создаёт образ великого, но при этом естественного, реального, неидеального человека.

Радует добросовестность Басинского, выверившего даты, цифры (“Льву досталась Ясная Поляна с 1470 десятинами земли и 300 крестьянских душ”); финал жизни писателя “расчислен по календарю” (если воспользоваться пушкинской терминологией в отношении времени в *Евгении Онегине*): по дням и часам. Это сочетается с навыками хорошего стилиста, порой выражающего свои мысли с помощью ярких эпитетов, метафор (“здесь интеллектуальная совесть Толстого спотыкается, не может этого принять”; “Толстой был человеком предельно свободного ума”). Умение биографа профессионально анализировать художественное произведение, безусловно, вызывает уважение литературоведов. Глубокое проникновение в тайны мировоззрения и художественного мышления своего героя позволило биографу верно объяснить причины *несоздания, незавершения* того или иного произведения: роман о Петре

И не состоялся потому, что этот исторический персонаж был нравственно чужд Толстому.

Рецензируемая биография представляется мне цельной и потому, что её автор попытался всем материалом (его структурой и содержанием) доказать: Лев Толстой был *свободным* человеком. Убедительно показано, что писатель с детства ненавидел насилие, с юности уважал лучшие национальные черты русского характера (отсутствие эгоизма и легкомыслия, невежественной самоуверенности). Этому способствовала информация о деятельности предков-дворян, настоящих граждан и патриотов. Умение свободно мыслить независимо от пропаганды и общего мнения было унаследовано от деда, князя Волконского (который, по справедливому предположению Басинского, был масоном, на что указывает и *масонский текст Войны и мира* при описании образа жизни старого князя Болконского).

Важным моментом в формировании вольнолюбия Толстого, как показал биограф, стал Севастополь – боль и гордость писателя. Толстой-артиллерист плакал, когда сдавали врагу великий город, был уверен, что неудачи русских войск объяснялись негодной организацией дел в армии, собирался взяться за проект военной реформы. Толстой-художник *Севастопольскими рассказами* (наполненными, по словам Александра Дружинина, “несомненной поэзией”) “совершенно изменяет сам стиль, художественные подходы к описанию войны” (Шпилевая 2017: 21), даёт пример самостоятельного осмысления истории.

Острым моментом в жизни Толстого был, конечно, теологический, и этому сложному аспекту Басинский уделил много внимания. В данном случае автор рецензируемой биографии солидарен с Виктором Шкловским, пронизательно заметившим, что вера писателя “соответствует не тому миру, который он видит, а тому, который он хочет построить” (Шкловский 1963: 507). Этим частично объясняются противоречия, свойственные мировоззрению и мироощущению Толстого, ибо абстрактность и непредсказуемость *будущего* не способствует рождению ясных философских стратегий.

Можно ли считать свободным человека, который всю свою долгую жизнь мучительно размышлял о своем назначении, всерьёз думал о самоубийстве, в конечном итоге бежал *в никуда* из дома, сделав несчастными жену и детей? Изучив *внешнее и внутреннее* бытие Толстого, автор приходит к выводу, что можно, так как именно

“десятилетия каторжной работы над самим собой” (Басинский 2016: 412) и делают человека *свободным*, то есть тем, который ясно видит пороки общества и свои собственные, различает свободу и *дику волю*. Моральный приговор Толстого был направлен, прежде всего, на себя, и это сделало его ответственным за всё, что происходило вокруг, и независимым в своих суждениях.

Библиография

Басинский 2016: П. Басинский, *Лев Толстой – свободный человек*, Молодая гвардия, Москва, 2016.

Шкловский 1963: В. Шкловский, *Лев Толстой*, Молодая гвардия, Москва, 1963.

Шпилевая 2017: Г. Шпилевая, *Поэтика «отрицания» в очерке Л. Толстого Севастополь в августе 1855 года: к вопросу об авторской нравственной оценке* // Л. Гладких, Ю. Прокопчук (ред.), *Материалы международной научной конференции «Толстовские чтения – 2016»*, РГ – Пресс, Москва, 2017, с. 16–22.

Эйхенбаум 1987: Б. Эйхенбаум, *О литературе*, Советский писатель, Москва, 1987.

Joanna Jarzab-Napierała

O. Rolin, *Stalin's Meteorologist: One Man's Untold Story of Love, Life and Death*, translated from the French by Ros Schwartz, Vintage Books, London 2018.

The accusations Aleksei Feodosievich Vangengeim had to face in 1934 were “organizing and leading counter-revolutionary sabotage work in the USSR’s Hydro-meteorological Department, including knowingly fabricating false weather forecasts with the aim of damaging socialist agriculture, and the disruption or destruction of the weather station network, especially the stations designed to prevent droughts” (Rolin 2018: 56). Ridiculous as the accusations may seem, in Stalinist Russia, the fate of Vangengeim, a devoted party member and a socialist scientist, is one of many tales of people who once placed their trust in Stalin and socialism. What makes this story particularly intriguing, however, is Vangengeim’s career as a scientist. Olivier Rolin gives us an insight into the meteorologist’s mind through the letters sent from a prison camp on the Solovki Islands. The letters display a unique perception of the Soviet Union of the time. They are imbued with utopian ecological visions which would not become a reality in Western Europe until half a century later.

Aleksei Feodosievich Vangengeim was born in 1881 in Krapivno, Ukraine, to a minor noble family. The surname has Dutch origins – the family may have emigrated during the reign of tsar Peter the Great, who hired Dutch carpenters who build his fleet and in turn were rewarded with land in Ukraine. Aleksei’s father, Feodosii Petrovich Vangengeim not only provided his son with a proper education, but also served as a role model for him –he built a small weather station on his land, thus probably inspiring his son. Aleksei Vangengeim went further in his meteorological dreams when, as the head of the USSR’s Hydro-meteorological Service, he managed to construct one of the first weather station networks in the world, which was able to forecast the weather of the whole of the USSR territory. Before being arrested, Vangengeim managed to organize the first conference devoted to the influence of climate on humans in 1932, paying attention to the relationship between the hydro-meteorological regime and health. His visions were not limited to finding a way of controlling the impact of cli-

mate and weather on farming, which was the main reason for the founding of his department. Vangengeim aimed to go further – he dreamt of urban planning adjusted to the weather conditions. Already in the 1930s, he foresaw that solar and wind energy were to be the future. When in the Solovki prison camp, he would often write in his letters to his wife about the potential of wind for the country: “it is renewable and inexhaustible. It will enable us to combat drought and tame deserts, wherever we find strong, scorching winds, and wherever it is very difficult to transport fuel to. The wind can transform deserts into oases. In the north, the wind will provide heat and light” (Rolin 2018: 24). His visions, on the one hand, seem typical for the Soviet man in terms of his illusory belief in the possibility of controlling nature, on the other hand, they strike us as very modern and pro-ecological in comparison to the majority of socialist projects based on the usage of concrete or deforestation, which symbolised Soviet man’s power over nature.

The failure of collectivised farming in 1932 and 1933, as well as the Ukrainian Great Famine known as Golodomor, demanded a response from Stalin. It came in the form of a wave of terror in 1934 and 1935. Aleksei Vangengeim was one of thousands who fell prey to the far-fetched accusations fabricated to justify the failures of the unrealistic expectations of the Soviet system. It would be interesting to see if the arrest of Vangengeim – a leading meteorologist of Stalinist Russia – had any direct link with the famine. Rolin does not provide the readers with any clear evidence, though he alludes to the fact, leaving us wandering if the link between the two events was far from coincidental. Thus, more investigation as to the reasons behind NKVD’s false accusations could have shed a new light on the life of Vangengeim as a victim of the fabricated sabotage, which was aimed to hide the truth about the crop failure and the genocide in Ukraine. The unwavering hope of the meteorologist in socialism and the party is bitter: during his stay in the Solovki camp he wrote seventeen petitions to Stalin, none of which were answered. However, his faith did not seem to fade, or, – to follow Rolin’s line of argument – Vangengeim, being aware of the fact that his correspondence was read by prison guards, manifested his allegiance to Stalin hoping that his strong faith in socialism would finally win him freedom and rehabilitation. This did not happen. Instead, together with more than one thousand prisoners, he was taken from the camp in October 1937 and shot in the forests near Medvezhergorsk, in the Karelia region. Thus, Vangengeim became a victim of the second wave of the

Stalinist terror of 1937 and 1938, known as The Great Terror. How problematic this history is for Russia even today comes to the surface in the third and fourth part of Rolin's book. The work done by the author with the help of the Research and Information Centre 'Memorial' in St Petersburg, together with the tragic story of Elenora, Aleksei's daughter, who in 2011 committed suicide on the anniversary of her father's arrest seem to suggest that the process the Russian society has to undergo to learn and accept the truth about the past is always long and painful. The need for such stories to be brought to light is observable in this year's Pushkin House Russian Book Prize, for which *Stalin's Meteorologist* was shortlisted.

It is important to note that Olivier Rolin does not concentrate solely on the tragic side of the story. As the title of the book indicates, the life of Aleksei Vangengeim is a tale of the love for his wife, his daughter, socialism, but first and foremost, for science. Rolin portrayed the camp as having a special aura. Situated on the same site where the fifteenth-century monastery was, the camp emanates with a certain atmosphere of spirituality, which stands in contrast to the majority of memoirs and texts conjuring up images of concentration camps. The book shows that part of camp life revolved around the library, which held an astonishing number and variety of books for such a place. These books were part of the collection of some of the former prisoners – the majority of whom belonged to higher classes. In the camp, Vangengeim met the last Jagiellonian prince, professor Oshman from Baku and Grigorii Kotliarevskij, a philologist who became political commissar of the Black Sea Fleet – the list Rolin provides is long and impressive. Vangengeim was allowed to deliver several lectures to the prisoners on topics related to meteorology. This was a small comfort for a scientist, who saw how Soviet science continued to develop rapidly without him. His letters were abundant in descriptions of weather and climate observations conducted by Vangengeim on the Solovki Island. The harsh life in the camp did not prevent him from watching the aurora borealis or the solar eclipse. He measured the depth of the snow, he wrote exercises for his daughter aimed at making science more understandable for her. His drawings for his daughter included local plants and animals. Not for one moment did his mind leave his scientific world. By this token, Vangengeim tried to cope with his longing for his lost family and his meteorological life. To conclude, it is crucial to provide some comment on the form of the text. Classified as a biography, *Stalin's meteorologist* comes across as a bizarre example of this particular genre. Rolin tries to enrich the story

of Vangengeim with his own experiences of the places he visited during his research. The past gets mixed with the present, Vangengeim's biography with Rolin's autobiography. At times, the French journalist presents the story in a reportage form, making the reader acquainted with the people who helped him to decipher the fate of the meteorologist. Rolin also provides us with his personal comments on what he imagines the life in the camp might have looked like, what Vangengeim might have thought, how his execution might have taken place. Thus, many a time does the story delivered by Rolin ring a bell with Sterne's famous "life and opinions" rather than a traditional biography. Whether it is a weak point of the book, it is difficult to judge – everything depends on the reader.

Джованни Савино

О. Матич, Записки русской американки: Семейные хроники и случайные встречи, Новое литературное обозрение, Москва, 2017, 584 с.

Роман, воспоминания или исследование? Книга Ольги Матич является уникальной по своей природе, и все элементы этих трех разных жанров присутствуют в ее работе и в ее стиле и не являются противоречивыми, наоборот, автор очень тонко сумел их гармонично перемешать. *Записки русской американки: Семейные хроники и случайные встречи* разделены на две части, как раз семейные хроники и случайные встречи: в первой части 15 глав, а во второй – 18. Почему *Записки русской американки*? Матич не только является крупным специалистом по русской литературе и профессором Калифорнийского университета в Беркли, но еще и “русской американкой”, из семьи русских эмигрантов первой волны. В ее семье были известные политические деятели, например, двоюродный дед Матич, лидер фракции националистов в Государственной Думе Василий Витальевич Шульгин, который получил в руки акт об отречении Николая II, а потом был идеологом Белого дела и стоял во главе разведывательной организации “Азбука” в годы Гражданской войны. Биография Шульгина очень богата, и не только потому, что “рыцарь монархизма” жил почти 100 лет (умер в возрасте 98 лет), а потому что она пересекла главные моменты истории русской эмиграции и советского общества XX века. Путь Василия Шульгина после Гражданской войны был весьма непростой: оказавшись за рубежом, бывший главный редактор газеты «Киевлянин» оказался в центре событий первой волны русской эмиграции. Шульгин был “интересной, талантливой и противоречивой личностью, к тому же его биография напоминает приключенческий роман и риск в ней не менее важен, чем политика” (Матич, 2017: 29). Такое описание и соответствует жизни Шульгина: он принял участие в дискуссии вокруг политического будущего русского монархизма, разделял идеи фашизма (известно, что он писал о Столыпине как о предшественнике Муссолини), и одновременно пытался искать своего младшего сына Вениамина, пропавшего без вести во время Гражданской войны. С надеждой найти пропавшего сына, Шульгин отправился в СССР в рамках операции “Трест”, ду-

мая, что там встретится с настоящими монархистами. В итоге, когда раскрылась операция, это был для него удар по репутации. В 1930-х годах он читал лекции для членов новой эмигрантской организации “Национальный союз нового поколения” (с 1943 года – Народно-трудовой союз), и до декабря 1944 года жил в Югославии, где и был задержан советскими органами и выслан в Москву, где был приговорен к 25 годам заключения. Шульгин отбыл срок во Владимирском центре до 1956 года, а потом был освобожден и жил во Владимире до конца своей долгой жизни. Началось своего рода паломничество к нему. Его навещали люди различных воззрений: писатель Александр Солженицын, художник Илья Глазунов, диссидент Владимир Осипов исследователи дореволюционной России. До сих пор нет научной биографии Шульгина, хотя есть множество хороших исследований о некоторых периодах жизни этого важного деятеля русского национализма. Сложность ситуации, возможно, заключается в том, что долгожитель Шульгин действовал в разных областях политики и публицистики, и пересекался с другими видными личностями эмиграции и “русской партии” в СССР.¹ Автор книги в конце главы о двоюродном дедушке пишет, что Шульгин “действительно был человеком ‘без страха’, но не ‘без упрека’ - и в личном плане, и в идеологическом, в первую очередь в том, что касается ‘народностей иных’. Но, несмотря на все упреки, дед мне нравится своей исключительной волей к жизни и калейдоскопичностью, совмещающей писательский талант и принципиальность с любовью к риску и легкомыслием” (Матич, 2017: 69). Родной дед Ольги Матич, видный русский экономист Александр Билимович, тоже был активным деятелем в правлении Белого движения, будучи членом Особого совещания при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России Антоне Ивановиче Деникине, у которого руководил Управлением земледелия и землеустройства. Во вступлении Матич подчеркивает, что в Киеве в начале XX века процессы национальной самоидентификации могли разделять и семьи, как и случилось с Шульгиными (одна ветвь приняла украинскую идентичность, и ее представители ста-

¹ Из лучших исследований о деятельности Шульгина в разных моментах его жизненного пути, см. Макаров, Репников, 2010. молодой петербургский историк А.А. Чемашкин курировал новое издание трех томов Шульгина про него воспоминаниях и деятельности в Гражданской войне, и его предисловия представляют большой интерес для ознакомления с жизнью видного русского националиста (Шульгин, 2018а; Шульгин 2018б).

ли видными деятелями украинского национализма, такие, как Александр Яковлевич Шульгин, глава правительства УНР в эмиграции в конце 1930-х): “Наши были русскими националистами. То, что близкие родственники столь по-разному осознавали свою национальную принадлежность, говорит не только о свободе выбора, но и о конфликте мировоззрений и самоидентификаций в Юго-Западном крае на рубеже XIX-XX веков, вопрос который раздирает и сегодняшнюю Украину” (Матич, 2017: 8).

Книга Матич, как уже писали, содержит не только воспоминания. Авторский подход позволяет через воспоминания раскрыть биографию человека в историческом контексте, совместить личные ощущения и объективность. “Русская американка” ставит важные вопросы, когда анализирует личность, творчество и свое отношение к некоторым героям ее записок, таким как упомянутый Шульгин или русский писатель и политик Эдуард Лимонов. Многогранность и противоречивость таких личностей ею глубоко проанализированы. Автор не скрывает неудобных взглядов и поступков своих героев. Комментируя заключение известной антисемитской книги Шульгина *Что нам в них не нравится*, где видный русский националист призывает евреев научиться “быть добрыми” (Шульгин, 1992: 222), Матич замечает: “Сколько высокомерия в этих словах, а во всей книжке – злобы и желчной иронии, направленной на всех, особенно на евреев. И сколько зависти” (Матич, 2017: 41). Исследовательский путь Матич в мире русской литературы является и ключом к интерпретации своей собственной семьи и истории – как, например, когда она рассказывает об Ирине Гуаданини, любви писателя Владимира Набокова, через семейные воспоминания и рассказы самой Гуаданини и автора *Лолиты*. Среди многих важных моментов научной карьеры Матич нельзя не обратить внимание на конференцию русских писателей третьей волны эмиграции. Организация и проведение конференции были исключительно идеей “русской американки”. Конференция состоялась в мае 1981 года и стала важным событием для культурной жизни русской эмиграции позднесоветской эпохи. В процессе организации и проведения конференции в Лос-Анджелесе было и немало полемик, например в секции, посвященной Александру Солженицыну. Матич вспоминает, что тогда эмиграция разделилась на приверженцев автора *Одного дня Ивана Денисовича* и оппонентов. Сам Солженицын не ответил на приглашение участвовать в конференции, и когда известный оппонент Солженицына, историк Алек-

сандр Янов, резко критиковал нобелевского лауреата, было немало реакций на его выпады. Конференция была уникальной в своем роде: в Лос-Анджелесе присутствовали тогда практически все главные личности русской эмигрантской литературы: как Саша Соколов, Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Андрей Синявский и Эдуард Лимонов. Вопросы сложного процесса формирования писательской диаспорной идентичности отражались и в этих внутриэмигрантских распрях (Матич, 2017: 446). Сергей Довлатов очень интересно проанализировал положение русского эмигрантского писателя в США. В своем докладе, посвященном именно этой теме, Довлатов заметил: “В Америке серьезной литературой занимаются те, кто испытывает в этом настоящую духовную потребность. Литература также не является здесь престижной областью. Действительно, в Москве или Ленинграде писатель считается необычайно уважаемой фигурой [...] Здесь рядовой писатель совершенно не выделяется [...] Литератора здесь ценит довольно узкий круг читателей” (Довлатов, 2016: 451).

В контексте литературы “третьей эмиграции”, уникальными считались личность и работы Эдуарда Лимонова. Его стиль не имел ничего общего с другими писателями, и, как упоминает Матич, сам Лимонов говорил о себе так: “Я с удовольствием родился бы здесь и принадлежал бы к американской литературе, что мне гораздо более к лицу” (цит. по Матич, 2017: 422). Портрет Лимонова на страницах книги Матич – один из самых трогательных во всех *Записках русской американки*. Нет апологии Лимонова, но есть глубокое уважение и настоящая дружба к “человеку-событию” и особому писателю. Матич удается фокусировать внимание именно на многогранности творчества Лимонова, его постоянном “переодевании”, но при этом умении всегда оставаться “Эдиком”. *Человек с пишущей и швейной машинкой и пулеметом* – так называется глава о Лимонове, и, возможно, это – самое удачное описание русского писателя. Вопреки возможным критикам, “русская американка” признается: “‘Я люблю товарищей моих’ (Белла Ахмадулина) вне зависимости от разногласий с ними. Как я пишу в семейной части книги, я люблю свою семью, восхищаюсь смелостью и верностью себе иных ее членов вне зависимости от того, нравятся мне их политические убеждения и поступки или нет. Когда мне кажется, что их несправедливо критикуют, я их защищаю. Для меня это – один из способов реализации своей ‘посреднической’ идентичности” (Матич, 2017: 434). Именно вопросы идентичности, многогранно-

сти, отчуждения и посредничества как встречи являются центральными в книге Матич. Во вступлении автор пишет о том, что “способность к языкам, как мне кажется, положила начало моей мимикрии – поверхностному чувству, что я всюду вхожа. Мимикрия определяется желанием принадлежать к той культурной среде, в которой в данный момент находишься. Однако желание ассимиляции вступало в конфликт с воспитанным во мне русским самосознанием” (Матич, 2017: 16). Но Матич не очень права, когда говорит о своей мимикрии, потому что ее подход напоминает больше любознательного и любящего проводника. Ее страницы о дочери Аси, о мужьях Владимире Матиче и Чарли Бернхаймере являются исповедью чистой, вечной любви.

Ценность *Записок русской американки* заключается в оригинальности многогранного подхода, где личное, художественное и исследовательское гармонично сумели совместно сосуществовать. На фоне биографии родственников и великих друзей автора есть и сама автобиография Матич, которая обладает даром свежего, объективного, но всегда эмпатического взгляда на своих героев.

Библиография

Довлатов 2016: С. Довлатов, *Как издаваться на Западе?* // С. Довлатов, *Собрание сочинений*, Азбука, Санкт-Петербург, 2016, т. 4, с. 445-458.

Макаров, Репников 2010: *Тюремная одиссея Василия Шульгина*. Материалы следственного дела и дела заключенного, сост. В.Г. Макаров, А.В. Репников, Русский путь, Москва, 2010.

Матич 2017: О. Матич, *Записки русской американки: Семейные хроники и случайные встречи*, Новое литературное обозрение, Москва, 2017.

Шульгин 1992: В.В. Шульгин, *Что нам в них не нравится*, Издательство НРПР “Хорс”, Санкт-Петербург, 1992.

Шульгин 2018а: В.В. Шульгин, *1919 год: в двух томах*, Кучково Поле, Москва, 2018

Шульгин 2018б: В.В. Шульгин, *1921*, Кучково Поле, Москва, 2018.

Aliaksandr Rasparou

Сяргей Шапран, Някляеў. Незавершаная аўтабіяграфія, выд. Інбелкульт, Смаленск 2018. – 428 с.

Monografia poświęcona życiu i twórczości Uładzimira Niaklajewa autorstwa Siarhieja Szaprana została zainspirowana nominacją pisarza do Nagrody Nobla w 2011 roku. Praca nad nią trwała osiem lat, do roku 2017. Dowiadujemy się z niej o przełomowych wydarzeniach w biografii Niaklajewa oraz jego miejscu w literaturze białoruskiej. Na Białorusi utwory Niaklajewa usunięte zostały z programu szkolnego, jak to miało miejsce w przypadku Swietłany Aleksiejewicz – laureatki wspomnianej nagrody z 2015 roku. Paradoksalnie, nieobecni w oficjalnym dyskursie twórcy stanowią o najwyższej wartości literatury białoruskiej. Dzięki Autorowi *Autobiografii niedokończonej* poznajemy przyczynę takiego stanu rzeczy. Jednocześnie przywraca on poecie należyte miejsce w historii literatury białoruskiej oraz przyczynia się do pogłębienia refleksji nad jego twórczością.

W tytule książki *Niaklajeu. Autobiografia niedokończona* możemy dostrzec cień prowokacji. Dlaczego autobiografię pisze inny autor, i dlaczego jest ona niedokończona? Że niedokończona – nie dziwi; jej bohater żyje i zapewne niejednym nas jeszcze zadziwi. A co do pierwszego pytania: kto w rzeczywistości jest jej autorem – Szapran czy Niaklajeu – odpowiedź znajdujemy w wywiadzie Szaprana dla Radia Swoboda, gdzie mówi, że “fundamentem książki są przede wszystkim jego [Niaklajewa] opowieści o samym sobie”. Zatem tytuł nie tylko odpowiada treści książki, ale oddaje charakter i styl życia bohatera.

Najlepszą recenzją książki o samym sobie są słowa poety umieszczone na tylnej okładce: “Żyłem tak, jak jest napisane. I niech będzie tak, jak napisane, z całą moją biografią, z całym moim życiem” – słowa poświęcone są autografem poety. A jak jest – przedstawia obraz umieszczony na pierwszej stronie okładki, którego autorem jest białoruski malarz Mikoła Selaszczuk. Obraz jest zatytułowany *Podróż na Athos*, świętą górę w tradycji prawosławnej, ale nie wiemy, kim są piel-

¹ W oryginale: “У падмурку кнігі найперш — ягоныя аповеды пра самога сябе. Таму і аўтабіяграфія” (*Незавершаная аўтабіяграфія. У Менску прэзэнтуюць кнігу Сяргея Шапрана пра Уладзімера Някляева, Радыё Свабода, 24.10.2018, (<https://www.svaboda.org/a/29560814.html> 7 October 2019).*

grzymi ani w którym kierunku ten statek podąża. Jedno co pewne to fakt, że statek nazywa się „Niaklajeu”. Dlaczego owa łódź, będąca blisko celu, ma żagiel odwrócony w drugą stronę? Co, albo który z pasażerów sprawił, że cel stał się nieosiągalny? Odpowiedzi na te pytania autor pozostawia uważnemu Czytelnikowi, który znajdzie tamże anegdotyczną historię powstawania obrazu oraz zawiłą drogę przeniesienia go na okładkę.

Daje się zauważyć, że tak jak przemyślana jest forma zewnętrzna, tak i wewnętrzna kompozycja omawianej książki pozbawiona jest przypadkowości. Przejrzystość układu kompozycyjnego została osiągnięta dzięki konsekwentnemu zastosowaniu metody chronologicznej: biografia obejmuje okres od narodzin pisarza w 1946 praktycznie aż do roku jej wydania – w 2018. Jest to naukowo rzetelna monografia, jako że jej autor, w myśl najlepszych tradycji literaturoznawstwa, zebrał i udokumentował fakty z życia i biografii twórczej pisarza, opatrując je ciekawymi a zarazem wyczerpującymi komentarzami. Jest to pozycja imponująca objętościowo. Zgromadzony materiał obejmuje dokumenty archiwalne, liczne fotografie, korespondencję, kopie rękopisów, artykułów, przedruki z wydań periodycznych, ekslibrisy itp., a samych przypisów jest niemal tysiąc.

Szapran pisząc tę biografię potwierdza fakt, że Uładzimir Niaklajeu należy do najwybitniejszych przedstawicieli tradycyjnego nurtu poezji białoruskiego Odrodzenia. Poeta urodził się tuż po wojnie, na Grodzieńszczyźnie. Rodzinne Krewo, któremu poświęcony został osobny rozdział, ukochane miasteczko jego dzieciństwa, jest miejscem, do którego wciąż powraca w swoich poetyckich podróżach.

W pewnym momencie życia młodzięcza ciekawość świata, potrzeba zdobywania nowych przestrzeni zawiodła go na Syberię. Tam odkrył, między innymi, że praca w łączności, efekt szkolnej edukacji, nie jest jego życiowym powołaniem. Drugim odkryciem, być może najważniejszym dokonany już w Moskwie podczas studiów w Instytucie Literackim im. Gorkiego, było uświadomienie sobie nierozzerwalnego związku z ziemią ojczystą, i powrót na Białoruś. W tym kryje się, według Szaprana, sens tomiku wierszy w rodzimym języku pt. *Odkrycie*, którym zadebiutował w 1976 roku. Temu etapowi życia związanym z ostatecznym odnalezieniem białoruskiej tożsamości przez Niaklajewa poświęca Autor kilka kolejnych fascynujących rozdziałów monografii.

Ważnym aspektem recenzowanej książki jest szczególna uwaga, którą Autor poświęca problemowi odbioru twórczości Niaklajewa. Udało mu się zebrać wszystkie znane, jak również wcześniej niepublikowane

świadczenia recepcji utworów literackich pisarza przez krytyków, literaturoznawców i wydawców białoruskich. Z pierwszych poważniejszych opracowań wyłania się obraz Niaklajewa – apologety poetyki neomodernistycznej. Z przekonaniem przytacza argumenty, z których wynika, że to Niaklajew wprowadza dotychczas zupełnie nieobecną w literaturze białoruskiej kategorię Eros. Z czasem nabiera ona nośności zwłaszcza w liryce miłosnej i pejzażowej. Emocjonalny odbiór rzeczywistości, charakterystyczny dla wrażliwości poety, stopniowo będzie przekształcał się w złożone obrazy metafizyczne w duchu symbolizmu. Na podstawie dokumentów Szapran dokonuje rekonstrukcji rzeczywistych zdarzeń oraz kontekstów je określających. Utrzymują one gęstą sieć referencji, pozwalającą prowadzić spójny i harmonijny dyskurs.

W swej poezji Uładzimir Niaklajew przywołuje moce, które zmuszają do refleksji, głębokiego przeżywania każdej chwili. Jego poezja nie jest zmaconą postmodernistyczną grą, relatywizacją fundamentalnych wartości, jakimi są chociażby prawda, swoboda czy odpowiedzialność za los swego kraju. To wszystko, co mówi, poświadcza swoim życiem, każde słowo próbuje przekuć w rzeczywistość. Jego twórczość cechuje niezłomna wiara w to, że Białoruś stanie się europejskim demokratycznym państwem.

Z książki Siarh eja Szaprana wyłania się portret Niaklajewa jako jednego z najwybitniejszych przedstawicieli literatury białoruskiej, który walczy o odzyskanie należnego jej miejsca wśród literatur europejskich. Walkę o to, aby mieszkańcy Białorusi szanowali siebie, swój język, swoją historię i swoją kulturę, Niaklajew toczy przeważnie ze swoim własnym państwem i jego służbami. Szapran postrzega poetę jako wybitną indywidualność, człowieka niesłychanej odwagi, który bez zmruczenia oka stawia swoje życie na jedną kartę w walce z systemem Łukaszenki.

Podążając za rozdziałami, które wyznaczają kolejne – często dramatyczne – etapy życia poznajemy historię zdrad i trudnych wyborów: *Swój wśród obcych* i *Obcy wśród swoich* albo *Cios w plecy* – te tytuły mówią same za siebie. W latach 1999-2004 po definitywnym zerwaniu stosunków z władzą został zmuszony do opuszczenia ojczyzny. Lata emigracji spędził w Polsce, a następnie w Finlandii.

Przytaczając te fakty za Siarihejem Szapranem, chcemy podkreślić, że są one integralną częścią twórczości poety. Cokolwiek by się nie działo w jego życiu jest przetwarzane w poezję, która towarzyszy mu w każdym miejscu i czasie. Dowodem na to jest recenzowana dziś książka. Musiała ona powstać, ponieważ bezsprzecznie jest to trudne do przecenienia świadectwo historyczno-literackie nawiązujące do poetyki wy-

powiedzi autobiograficznej, oparte na bogatym materiale faktograficznym pozwalającym wiernie zrekonstruować konteksty literackie niezbędne do zrozumienia i interpretacji twórczości Niaklajewa. Jedynym problemem jest to, że niewiele wiemy o twórcach, takich jak bohater recenzowanej monografii. Przetłumaczenie tej książki na język polski wniosłoby wiele nie tylko dla białorutenistów, ale również dla znawców literatur europejskich, a także wyrafinowanych odbiorców literatury współczesnej.

Dotychczas w Polsce zostały wydane następujące książki Niaklajewa: *Poczta gołębia: wiersze wybrane* (1987) w tłumaczeniu Adama Pomorskiego (Wrocław 2011); *Pożegnalny gest Zygmunta* w przekładzie Czesława Seniucha (Warszawa 2011); *Automat z wodą gazowaną z syropem lub bez (powieść mińska)* (2012) w przekładzie Jakuba Biernata (Wrocław 2015); *Listy do Voli* w przekładzie Czesława Seniucha (Poznań 2016).

Ирина Сапунова

Н.В. Корниенко (Отв. ред.), Текстологический временник. Русская литература XX века: Вопросы текстологии и источниковедения. Кн. 3: Письма и дневники в русском литературном наследии XX века, ИМЛИ РАН, Москва, 2018, 880 с.

Рецензируемое издание – продолжение проекта, начатого в ИМЛИ РАН и посвященного разработке широкого круга тем в исследованиях по русской литературе XX века в ракурсах текстологии и источниковедения. В первых двух выпусках (2009; 2012), состоявших из материалов Международного текстологического семинара, новых архивных данных, впервые вводимых в научный оборот, были представлены результаты работ отечественных текстологов, участвовавших в подготовке академических *Собраний сочинений*, серии РАН *Литературные памятники*, *Хроники литературной жизни советской России*, а также дан анализ современного состояния изданий классиков прошедшего столетия.

Третий выпуск, в отличие от первых двух, посвящен письмам и дневникам в русском литературном наследии XX века. Новизна книги – в привлечении архивных материалов (писем И. Бунина, М. Шолохова, дневников М. Пришвина и др.). Здесь же впервые приводятся письма читателей к писателям. Большая часть исследований отведена авторам Серебряного века (С. Есенин, А. Ахматова, М. Цветаева, В. Маяковский, В. Хлебников, Ф. Сологуб, В. Брюсов), а также представителям русского зарубежья (И. Бунин, А. Ремизов, Б. Зайцев, Д. Мережковский) и метрополии (М. Шолохов, А. Толстой, Ю. Олеша, М. Горький, И. Бабель, Р. Ивнев, А. Платонов, К. Федин, Н. Анциферов).

Книга состоит из пяти разделов (I. Контексты изучения эпистолярия: источниковедение, вопросы эдиции, комментарий; II. Дневники XX века: вопросы источниковедения, изучения, издания; III. История текста; IV. Документ и текст: источниковедение и поэтика; V. У классиков), двух вступительных статей (Н.В. Корниенко и Т.М. Горяевой) и крайне необходимого в столь объемных трудах именного указателя. При этом материалы *Временника* удобнее

сгруппировать не столько в соответствии с заданным оглавлением, сколько согласно объединяющим их проблемам.

Значительное место в издании уделяется анализу связей эго-документа с художественным произведением. Повышенное внимание к этой теме определено тем, что последние годы отмечены доминированием литературы нон-фикшн. Вместе с тем до сих пор не решен вопрос об эстетическом статусе литературы с документальным началом. В одних случаях авторы статей, апеллируя к письмам и дневникам писателей, демонстрируют, как данные материалы помогают установить прообразы литературных героев и реконструировать первоначальный авторский замысел. Так, Г. Воронцова, обращаясь к письмам А.Н. Толстого к сестре его матери (М.Л. Тургеневой), выявляет в них образы и размышления, позднее отразившиеся в произведениях писателя (см., например, повесть *Заволжье*). В свою очередь, изучение его переписки с Вяч. Полонским помогает проследить изменения в творческой истории романа *Восемнадцатый год*. К этой же проблеме на страницах *Временника* тяготеют Е. Самоделова, А. Любомудров, Н. Михайленко. В других же случаях эго-документ служит не просто источником сведений о произведении, но и сам становится художественным текстом. Доказательство тому – работа Н. Примочкиной о дневниковых записях М. Горького. С началом Первой мировой войны писатель взял на себя роль летописца и впоследствии издал свои очерки отдельной книгой *Заметки из дневника. Воспоминания*. Впечатления от встреч послужили Горькому основой при создании литературных портретов Л. Толстого, А. Чехова, В. Ленина. Вокруг проблемы отражения эго-документами исторических примет времени сконцентрированы статьи, авторы которых подробно исследуют возможности личных документов писателей сохранять представления о культурной, литературной и политической жизни России XX века, выявлять ее знаковые особенности и оценки происходивших событий. К примеру, Н. Корниенко на материале дневников Вс. Вишневского анализирует писательские чистки 1940-х годов, О. Алексеева с опорой на дневниковые записи Ф. Гладкова восстанавливает картину событий II Всесоюзного съезда советских писателей, А. Игнатова показывает, как письма читателей к Ю. Олеше формируют обобщенный портрет публики, искренне любящей его творчество. Наконец, Е. Обатнина, анализируя феномен футуристов, прибегает к воспоминаниям об их диспуте с лингвистом Бодуэном де Куртенэ, состоявшемся 8 февраля 1914

г. в одном из училищ Санкт-Петербурга. Иная грань обозначенной проблемы – способность эго-документов не просто фиксировать исторические факты, но выступать в качестве особой литературной формы. В этой связи Е. Погорельская доказывает, что дневник И. Бабеля можно рассматривать как новый жанр, имеющий военно-историческую значимость. В нем отражены реалии походной, боевой и бытовой обстановки в армии С. Буденного. Именно дневник Бабеля позволяет датировать начало ведения журнала военных действий в Первой конной во время Гражданской войны.

Исследование эпистолярного наследия как источника биографических данных писателя – еще одно актуальное направление текстологических разысканий, имеющее непосредственное отношение к установлению генезиса литературного творчества, истоков формирования личности художника и ее развития в контексте определенной эпохи. В частности, Е. Папкина описывает социальную биографию Вс. Иванова с февраля 1917 до января 1921 гг. в Сибири, где регулярно менялись правительства, при которых приходилось жить молодому писателю. Неудивительно, что в публикуемых материалах встречаются противоречия и несовпадения с известными фактами тех лет. В официальных документах советской эпохи умалчивалось *белое прошлое* Иванова (с. 765) и излагались события только красной части его биографии. Из воспоминаний сибирских писателей, вышедших в постсталинское время, вырисовывался другой портрет автора. Папкина подробно разбирает противоречия в изложении его партийной принадлежности, сведения о работе в типографии военной газеты «Вперед» адмирала Колчака (в автобиографиях писателя информация об этом периоде жизни отсутствует). На изучении биографий классиков с преимущественной опорой на письма и дневники сосредоточены также Е. Никитин и О. Шуган.

Не менее насущным для участников *Временника* остается вопрос об адресате личных писательских записей. В одних случаях они становятся полем для изучения отношений искусства и жизни, а в других – попыткой автора сконструировать в сознании читателя определенный образ художника, то есть мифологизировать собственное *Я*. Так, сразу в двух статьях обсуждается роль различных эго-документов в формировании стратегий самопрезентации Д. Мережковского. А. Холиков проводит сопоставительный анализ вариантов *Автобиографической заметки*, размещенной во втором прижизненном *Полном собрании сочинений* писателя, и сравнива-

ет ее с литературно-биографическим очерком М. Лятского из первого собрания. В свою очередь, В. Полонский, исследовав взаимоотношения Мережковского и гр. Прозора, приходит к выводу о стремлении писателя утвердить себя на Западе как идеолога неорелигиозной мысли.

Этому же вопросу близка проблема воссоздания психологического портрета художника, углубляющая наши представления о его творческом пути. Скажем, К. Федина часто вспоминают по последним годам деятельности как функционера в писательских организациях, гонителя Б. Пастернака, А. Солженицына, А. Сахарова. Между тем, как показывает Е. Трубилова, из переписки и дневников писателя проглядывает образ сентиментального, мятущегося человека, который легко поддается чужому влиянию, о чем впоследствии сожалеет. Не менее интересны реконструкции портретов В. Брюсова и А. Гладкова, осуществленные соответственно Н. Богомоловым по переписке поэта с А.А. Шестеркиной лета 1901 г. и М. Михеевым на основании декларации гражданской позиции (“не участвовать, не выступать, не состоять”) по дневникам писателя.

Общетекстологическим задачам самого разного рода во *Временнике* по праву отводится значительное место. Среди них – изучение датировки (Н. Гусева, М. Павлова), подготовка комментария (С. Морозов, О. Быстрова), отражение в эго-документах истории издания произведений (Ю. Дворяшин, Н. Крайнева, Л. Суравова), наконец, дешифровка рукописей с применением специальных технологий (в этом отношении показательна обстоятельная статья К. Баршта, который на примере первой записной тетради Ф. Достоевского, представляющей синтез из знаков, символов, рисунков, текстовых и графических композиций, описывает алгоритм построения “дипломатической транскрипции” (с. 831) для адекватного воспроизведения подобных материалов).

Как видно, в методологическом отношении рецензируемый труд опирается не только на устоявшиеся в текстологии подходы, апробированные в деятельности ведущих академических институтов (прежде всего – ИМЛИ и ИРЛИ РАН), но и на более современные принципы, позволяющие полнее проследить путь от авторского замысла к готовому тексту (как в случае с отказом от привычной издательско-текстологической модели, где во внимание принимаются только знаки, сводимые к графемам кириллицы или латиницы).

Разумеется, столь масштабные научные сборники не могут быть свободны от мелких недостатков. В третьем выпуске *Текстологического временника* они тоже встречаются. Главным образом – в нарушении баланса между некоторыми разделами в рамках всего издания, а также чрезмерной детализации материала в отдельных статьях в ущерб концептуальным умозаключениям. Несмотря на это, осуществляемый проект заслуживает активной поддержки со стороны профессионального сообщества, поскольку “ключи к разгадке тайн человеческой души находятся в интимной переписке, личных дневниках, записных книжках” (с. 12), а введение в научный оборот писательских эго-документов XX века – еще в самом начале пути, и нас, безусловно, ожидают интересные открытия.

Marco Sabbatini

Lidija Ginzburg, *Leningrado. Memorie di un assedio*, a cura di Francesca Gori, Guerini e associati, Milano, 2019, pp. 187.

Nel ricco panorama della memorialistica sull'Assedio di Leningrado, che ha trovato un buon riscontro editoriale e d'interesse tra i lettori italiani anche recentemente, con le testimonianze di Ol'ga Berggol'c e Lena Muchina, l'opera di Lidija Ginzburg si distingue per originalità compositiva e spessore letterario. Il filone narrativo sull'Assedio conta tra i testi principali le memorie dei sopravvissuti raccolte e rielaborate da Aleksej Adamovič e Daniil Granin, cui si deve un importante recupero documentale di testimonianze concluso alla metà degli anni Settanta e tradotto in italiano con il titolo *Le voci dell'Assedio. Leningrado (1941-1943)*. Ultimamente ha suscitato nuove suggestioni la sceneggiatura di Giuseppe Tornatore dal titolo *Leningrado*, rispolverando anche il ricordo dell'ultimo inespresso desiderio di Sergio Leone, che nel 1989 aveva progettato di raccontare il sacrificio e la resistenza leningradese attraverso un grande kolossal, pellicola poi mai realizzata a causa dell'improvvisa scomparsa del regista.

Ora il motivo dell'Assedio si arricchisce in lingua italiana di una voce di grande spessore intellettuale, grazie a Lidija Jakovlevna Ginzburg, scrittrice e critica letteraria nata a Odessa il 5 (18) marzo 1902 da una famiglia ebraica, che si trasferì a Pietrogrado nel 1922. Qui, nella città poi ribattezzata con il nome di Lenin, trascorse il resto della sua intensa esistenza fino alla morte, avvenuta il 17 luglio 1990.

Nel 1926, sotto la guida di Boris Ėjchenbaum, Lidija Ginzburg concluse a Leningrado il corso di letteratura all'Institut Istorii Iskusstv, dove ebbe modo di conoscere gli altri formalisti, tra cui Viktor Žirmunskij, Jurij Tynjanov e Viktor Šklovskij, di cui subì indiscutibilmente l'influenza. I suoi lavori di critica appartengono al cosiddetto formalismo di seconda generazione; tale impostazione è evidente soprattutto negli scritti giovanili, dedicati alla poesia del primo Ottocento (Puškin, Vjazemskij, Benediktov, Lermontov) e nei successivi scritti su Aleksandr Herzen, di cui uscirà una sua monografia nel 1957.

L'impostazione formalista ebbe un riflesso anche nella costruzione narrativa dei suoi appunti che curò nel corso della sua vita e, in

particolare, nella stesura delle sue memorie dell'Assedio, testo a cui lavorò a più riprese per circa cinquant'anni e che portano il titolo di *Zapiski blokadnogo čeloveka* (Le memorie di un uomo dell'assedio). Da questo testo di Lidija Ginzburg trae origine il corpo centrale della versione italiana delle *Memorie di un assedio*, cui si aggiungono alcuni stralci significativi di appunti e abbozzi (*Intorno alle "Memorie di un assedio"*) che arricchiscono ulteriormente la testimonianza dell'autrice. A Francesca Gori si deve la traduzione, oltre che una profonda riflessione in luogo di prefazione, pienamente in linea con lo spirito della collana avviata con Guerini e associati editore e patrocinata dall'associazione Memorial, dal titolo "Narrare la memoria. Le storie dimenticate dell'Europa dell'Est". Tradurre Ginzburg è un esercizio tutt'altro che scontato e sono diversi i passaggi in cui è manifesta l'intenzione della traduttrice di disambiguare e semplificare nella lingua di arrivo i passaggi più ostici della narrazione. Anche alla luce di questa scelta, la lettura risulta molto fruibile, a dispetto di un tema, tanto grave, quanto intento continuamente a lasciar riflettere il lettore sulla natura umana colta in una condizione di estrema necessità. L'analisi antropologica viene proposta attraverso un alter ego maschile di Lidija Ginzburg, un intellettuale, genericamente nominato con un impersonale N. Questa costruzione al maschile del personaggio *intelligent*, già per definizione poco incline alle simpatie della politica staliniana, secondo alcuni critici, su tutti Emily van Buskirk, è il riflesso dell'identità omosessuale dell'autrice; questa metamorfosi letteraria andrebbe invece intesa in senso impersonale e neutrale, laddove la testimonianza romanzata di Lidija Ginzburg esprime la necessità di consegnarsi all'umanità, con una esperienza di sopravvivenza autobiografica così provante, penosa e per certi aspetti catartica, nella sua quotidiana prossimità alla morte. Il tal senso quest'opera è investita da un carattere universale, in quanto reca un messaggio scevro di eroismo e intriso di profonda e sobria dignità.

A differenza dei diari leningradesi di Vera Inber (pubblicati già nel 1945), in Lidija Ginzburg non c'è nulla di quella retorica ufficiale votata all'esaltazione del sacrificio estremo per la difesa della patria o dell'ideale. La veristica descrizione dei pensieri e delle azioni di N. indugia piuttosto su una condizione psicologica determinata dal bisogno fisiologico della fame e della difesa dal freddo e da qualsiasi agente esterno possa minare minime il precario stadio della sopravvivenza. La tenacia e lo sconforto si alternano in una lotta disperata, senza che le descrizioni diventino particolarmente cruento o

atroci, come dimostra anche questa bozza di “appunti dai giorni dell’assedio”, in cui l’uomo è rivelato in una veste egoistica di autoconservazione che cerca rifugio dal male: “Quando un sistema di valori crolla, l’uomo colto regredisce a uno stadio primitivo. Mentre la sua esistenza si sgretola riemerge il suo atteggiamento da cavernicolo nei confronti del fuoco, del cibo, del vestiario. L’egoista brancola come un cieco tra fenomeni che gli sono ostili in modo aggressivo e apatico, alla ricerca di una nicchia che lo protegga dal male” (p. 159).

La narrazione si concentra cronologicamente nella fase successiva all’inverno più duro del 1941-1942, quello che genererà più sofferenza e mietterà più vittime; anche la madre di Lidija, Raisa Davidovna muore nel corso del 1942 a causa della distrofia. Come sottolinea l’autrice: “A Leningrado il pericolo era una realtà quotidiana, sistematica, e sistematicamente destinata a logorare i nervi, ma sistematicamente non molto rilevante. L’esperienza di ogni giorno dimostrava che il pericolo di bombe e cannonate era molto inferiore a quello rappresentato dalla morte per distrofia” (p. 48).

Nella città assediata, Lidija collabora a Radio Leningrad, l’unica voce di speranza e d’informazione che si diffonde in una Leningrado che regredisce progressivamente ad uno stadio primitivo, sia nella sua dimensione pubblica, sociale che privata: “nei suoi appartamenti la gente lottava per la vita, come un esploratore polare in pericolo. Al mattino si svegliavano dentro un sacco o una caverna che si erano costruiti il giorno prima con tutte le cose che erano riusciti ad ammucchiarsi addosso [...] Ma tutto intorno erano circondati dal freddo che li avrebbe tormentati senza tregua per tutto il giorno” (p. 33). Una simile descrizione spersonalizzata e al contempo realistica dell’Assedio non avrebbe certo trovato il *placet* della censura, di questo l’autrice era ben consapevole, sebbene buona parte delle memorie fosse stata già approntata nell’immediato dopoguerra, dopo che nel 1943 Ginzburg aveva ricevuto la medaglia al valore “per la difesa di Leningrado” (za oboronu Leningrada). La pubblicazione per mezzo secolo rimase solo una chimera. All’autrice era noto l’atteggiamento delle autorità nei suoi confronti, e in seguito ai processi leningradesi del dopoguerra fu emarginata temporaneamente dalla città e costretta a trasferirsi a Petrozavodsk, dove insegnò fino al 1950. Le memorie sarebbero rimaste a lungo “dimenticate nel cassetto”, vedendo la luce solo nel 1984, sulla rivista leningradese «Neva» e successivamente, nell’agosto 1990, nel volume *Človek za pis’mennym stolom* curato dall’autrice per l’editore Sovetskij pisatel’.

Lidija Ginzburg con quest'opera, oltre a conferire un valore salvifico alla letteratura, alla stessa stregua dei leningradesi sotto Assedio, che con disperata avidità leggono *Guerra e Pace* di Tolstoj (p. 23), ci dà riprova della scrittura come forma di resistenza e di dignità umana, dimostrandosi ancora una volta, – qui nelle vesti di una testimone lucida e coraggiosa –, di essere una delle figure femminili di maggiore spessore intellettuale e di principale riferimento nel panorama culturale russo del Novecento.